

ГЛАВА IV. О свободе городов. Оппозиция не может требовать, а Императорское правительство даровать этой свободы, возможной только в федерации и несовместной с системой единства

Вопрос о свободе городов принадлежит к числу тех, за которые Оппозиция более всего надеется заслужить одобрение страны и получить удовлетворение от правительства.

Ревнуя о городском самоуправлении, оппозиционные депутаты имеют, при этом, более всего в виду понравиться шумному парижскому населению, не мало не помышляя ни о своей присяге, ни об убеждениях, ни о логике, ни о действительности. В продолжении 12 лет, Парижем управляют одни только императорские чиновники, и что же: хуже ему или лучше от этого? Можно доказывать и за, и против. Но во всяком случае, Париж, как уверяют, жалеет о своих муниципальных советниках. Какой удобный случай для депутатов приобрести популярность!

Вопрос о городских вольностях – один из самых темных и обширных; он тесно связан с федеративной системой; можно даже сказать, что в нем вся федерация. Поэтому я нахожу

лишним заявлять сочувствие этой реформе, в пользу которой я говорил давно и неоднократно. Теперь я поставил себе задачу доказать несколькими решительными доводами, до какой степени противоречат сами себе все те, кто по оппозиции или по другим причинам кричит о городских вольностях, а тем не менее держится системы единства и централизации; я покажу, какое торжество готовят они своим противникам и какое разочарование стране.

Я утверждаю, что городское самоуправление, по своей сущности, несовместно с единством правления, какое создано и определено всеми нашими конституциями.

При этом следует прибавить, что Парижу, как столице, еще невозможнее согласить самоуправление свое с государственным единством, чем всякому другому французскому городу. Постараемся доказать это самым наглядным образом. Мы уже сказали (Часть II, глава IX), что в буржуазном мире, каким его сделала революция, два принципа считаются столпами общества и государства: принципы политической централизации и экономической несправедливости или, другими словами, торгашеской и промышленной анархии, которая, уравновешивая первый принцип, необходимо ведет к феодальному господству капитала. По законам исторического развития, которые управляют всеми правительствами, эти два принципа должны, с течением времени, вызвать свои последствия; и так как городское самоуправление препятствует им, то из этого следует, что общинная жизнь, как более слабая, должна постепенно подчиняться центральной деятельности. Таким образом, когда высшее правительство, центральная власть учреждает в каком нибудь городе свою резиденцию – город этот, став столицей, должен скорее и более других утратить свою самостоятельность. Это положение, очевидное для всякого, кто понимает то, о чем идет речь, показывает нелепость приверженцев парижского самоуправления и их требований.

Что касается тех из моих читателей, кто не привык разом обнимать умом все содержание какого-нибудь положения, то я постараюсь объяснить его, напомнив им некоторые факты.

I. Упадок городских вольностей. – Французское единство. – Создание всей нашей истории

Оно начинается с римского завоевания, продолжается завоеванием французским; потом, уничтоженное или, скорее, преобразованное феодальной системой, оно возобновляется королями, при вступлении на престол капетингской династии. Так как национальное единство, какое видим теперь, образовалось последовательными присоединениями независимых областей, то понятно, что провинции и общины удерживали еще некоторое время кое-какие остатки своей автономии, то, что они называют своими обычаями, вольностями, и т. д. Но мало-помалу, администрация и короли одержали верх. После Ришелье управление провинциями было вверено наместникам, слугам королей, сделалось исключительно зависимым от правительства и со временем приняло однообразный

характер. Реформаторы 89 г., продолжая дело монархии, возвели систему единства в государственный принцип при неумолкаемых доселе рукоплесканиях народа.

Тем не менее общины долго еще сохраняли кое-какие признаки жизни по утверждению великого единства. Провинция безжизненная, расплывшаяся, давно уже стерлась и поглотилась в государстве, когда община, благодаря своему местному духу, благодаря сосредоточенности своих жизненных сил, еще держалась и сохранялась.

Наконец, конституции II и III г. г., обратившие городское управление в одну из отраслей центральной администрации, и учреждение 17 февраля 1800 г. префектов, заменивших центральных комиссаров Республики, и при них советов префектур, нанесли решительный удар самоуправлению общин. С этих пор зло стало неисправимо. Пятнадцать лет спустя, при падении первой империи, община оказалась мертвою, и либерализм тщетно пытался воскресить ее.

Я уже говорил (часть II, гл. XII) о том, как буржуазия, напуганная непомерным усилением центральной власти и примером Наполеона I, пыталась подчинить себе правительство, дав ему тройной противовес: 1) конституционную, представительную и парламентскую систему, 2) городские и департаментские учреждения и 3) экономическую анархию. Теперь я скажу несколько слов о втором из этих противовесов, возрожденном из древних общин.

Этими городскими и департаментскими учреждениями много занимались в царствование Луи-Филиппа; подобно поземельному кредиту и многому другому, это была одна из фантазий буржуазного царствования. Об этом толковали при реставрации; сам Наполеон I, по-видимому, интересовался этим предметом; при его наследнике, об учреждениях этих говорят больше, чем когда-либо. На них особенно настаивают люди золотой середины, которых во Франции всегда такое множество и которые так неразумны. Им кажется, что, возвратив общине некоторую долю самостоятельности, можно уравновесить центральную власть, можно устранить гнусные стороны централизации, а главное – избежать федерализма, который в 1864 году ненавистен им так же, как в 1773 был ненавистен тогдашним патриотам, только по другим причинам. Эти добрые люди охотно восторгаются швейцарскою и американскою свободой; они подчуют нас ею в своих книгах; она служит им зеркалом, когда они хотят пристыдить нас за наше низкопоклонство; но ни за что в мире не дотронутся они до своего любезного единства, которое составляет, по их мнению, славу французов и которому, по их уверениям, так сильно завидуют все другие нации. С высоты своего академического самодовольства, они обвиняют в увлечении тех писателей, которые, не забывая логики и истории, оставаясь верными чистым внушениям права и свободы, не верят в политические воскресения и, наскучив эклектизмом, хотят отделаться раз навсегда от доктринерских фокусов.

Г. Эдуард Лабуле принадлежит к числу таких мягких умов, которые очень способны понять истину и показать ее другим, но мудрость которых состоит в кастрации принципов с помощью невозможных соглашений. Они очень желают положить предел власти, но с тем однако, чтобы им позволено было ограничить и свободу; они были бы счастливы, если можно было бы обрезать когти одной, оборвав в тоже время и крылья другой; их ум, трепещущий перед всяким широким и мощным синтезом, с удовольствием погружается в

ерунду. Г. Лабуле, которого демократия чуть было не избрала своим представителем вместо г. Тьера, принадлежит к числу тех людей, которые, противопоставляя императорскому самодержавию так называемые июльские гарантии, вместе с тем задали себе задачу бороться против Социализма и Федерализма. Ему принадлежит следующая прекрасная мысль, которую я одно время думал взять в эпиграф: «Когда политическая жизнь сосредоточена в трибуне, страна распадается на двое: на оппозицию и правительство». Я попрошу г. Лабулэ и его друзей, которые так хлопочат о городских вольностях, ответить мне на один вопрос, только на один.

Община, по существу своему, как и человек, как семья и всякое разумное, нравственное и свободное единичное или коллективное лицо, есть существо, конечно, самовластное. В качестве такого существа, община имеет право управляться сама собой, налагать на себя подати, распоряжаться своею собственностью и своими доходами, учреждать для своей молодежи училища, назначать в них профессоров, иметь свою полицию, своих жандармов, свою гражданскую стражу, назначать своих судей, иметь свои журналы, собрания, общества, банки и проч.

Следовательно, община постановляет решения, отдает приказания: почему же ей не идти дальше и не издавать свои законы? У неё есть своя церковь, свои верования, свое свободно избранное духовенство, даже свои церковные обряды и свои святые; она публично обсуждает в городском совете, в своих журналах и в своих клубах все, что происходит в ней и вокруг неё, все, что соприкасается с её интересами и волнует её общественное мнение. Вот что такое община и коллективная, политическая жизнь. Жизнь едина, полна, нераздельна; она не хочет знать никаких оков и граничит только сама с собой; всякое внешнее ограничение ей противно и даже смертельно, если она не может с ним справиться. Пусть же г. Лабуле и его политические единомышленники скажут нам: каким образом думают они согласить эту общинную жизнь с своими унитарными поползновениями? Каким образом избегнут они борьбы? Как думают они удержать местные вольности рядом с центральным насилием – ограничить одни и остановить другое?! как ухитряются они поддерживать за раз, одною и тою же системой, независимость частей и господство целого? Объясните же, чтобы можно было узнать вас и судить о вас.

Середины нет: община должна иметь в руках власть или быть подвластною. – Все или ничего! Говорите о ней, что хотите; но с той минуты, когда она должна будет отказаться от своего права и принять чужой, внешний закон, когда большая группа, часть которой она составляет, будет объявлена чем-то высшим, а не выражением федеральных отношений, – рано или поздно возникнет между ними неизбежное противоречие и произойдет столкновение. Но как скоро выйдет столкновение, центральная власть, во имя логики и силы, должна непременно одолеть, и без всяких споров, без всякого суда, без компромиссов, потому что борьба между высшим и низшим немислима – это скандал. Таким образом, мы всегда придем, после более или менее долгого волнения, к отрицанию общинного духа, ко всепоглощению центром, к самодержавию. Следовательно, идея ограничения государства группами там, где господствует принцип подчиненности и централизации самих групп, есть непоследовательность, чтобы не сказать – противоречие. Государственная власть имеет только один предел, который она сама себе добровольно ставит, предоставляя общинной и личной инициативе кое-что, о чем она, до поры до

времени, не заботится. Но придет время, когда она будет считать своей обязанностью вернуть себе эти вещи, от которых сначала отказалась, и это время, рано или поздно, наступит, потому что развитие государства бесконечно, и его оправдает не только суд, но и логика.

Если вы либерал и решаетесь говорить об ограничении государства, которому оставляется верховность власти, – то укажите предел свободы личной, корпоративной, областной, социальной, предел свободы вообще? Так как вы считаете себя философом, то объясните, что такое свобода ограниченная, подавленная, свобода под надзором, свобода, которую садят на цепь, привязывают к столбу и говорят: твое место здесь, и дальше ты не пойдешь!...

Все сказанное подтверждается фактами. В течение тридцати шести лет парламентского порядка, следовавших за падением первой империи, городская и департаментская свобода постепенно и постоянно исчезала, и правительства даже не трудились нападать на нее. Дело шло само собою, в силу самой сущности принципа единства. Наконец, после целого ряда насильственных захватов, входивших в подробности которых я считаю лишним, община окончательно подчинилась государству, по закону 5 мая 1855 г., который предоставил императору или префектам право назначать меров и их помощников. Таким образом, закон 5 мая 1855 г. поставил общину в положение, на которое ей указывала логика единства, начиная с 1789, 1793 и 1795 гг., то есть в положение простой слуги центральной власти.

Я говорю, что этот результат был неизбежен, что на этот факт нельзя смотреть иначе, как на продукт самого общества, идущего по пути монархии и единства; что совершенное в 1855 г. императорским правительством было подготовлено обстоятельствами, было задумано его предшественниками, и что обращать этот необходимый вывод в орудие оппозиции, объявляя себя в то же время сторонником единства, – значит одно из двух: или невежество, или недобросовестность. Общинный порядок, как он существовал при Людовике Филиппе, представлял, по отношению к префектуре, двойственное правление, власть во власти, *imperium in imperio*, чтобы не сказать, что наоборот, префектура представляла лишнее повторение власти по отношению к провинции и общине, что впрочем в сущности одно и то же.

Издавая закон 5 мая 1855 г., правительство Наполеона III только привело, следовательно, в исполнение то, на что ему указывала история, осуществило свое право и, смею сказать, выполнило свое императорское полномочие. Такого монархического, унитарного и централизаторского назначения Франции, и не полу-династической, конституционной, буржуазной, унитарной и, как следует, присяжной оппозиции приходится колоть им глаза правительству.

II. Париж, столица и муниципия

Что касается Парижа и Лиона, муниципальные советы которых назначаются императором, то есть обращены в комиссии, между тем как везде в других местах граждане сами принимают участие в администрации избранием своих советов, то за это еще

несправедливее обвинять правительство. На оба главные города империи смотрят, не скажу – по их заслугам, потому что это можно было бы принять за злую иронию, но сообразно их достоинству. Париж не может пользоваться в одно и тоже время и блеском столицы, и самоуправлением, впрочем весьма, ограниченным, какое представляют свободно избранные городские советы. Эти две вещи несовместны: нужно выбирать что-нибудь одно.

Париж – резиденция правительства, министерств, императорского семейства, двора, сената, законодательного корпуса, государственного совета, кассационного суда, даже провинциальной аристократии с её многочисленной челядью. Сюда приезжают посланники всех иностранных государств, стекаются с целого света путешественники, часто в числе 100 и 150 тысяч, спекуляторы, ученые, художники. Здесь сердце и голова государства, окруженные пятнадцатью цитаделями и валом в сорок пять километров, охраняемые гарнизоном, составляющим четвертую часть наличных военных сил страны; их нужно охранять и защищать во что бы то ни стало. Все это, очевидно, далеко превосходит круг деятельности городского совета, и вся страна восстала бы, если бы, по муниципальной конституции, Париж сделался, так сказать, равным империи; если бы городская дума стала соперничать с Люксембургом, Пале-Бурбоном и Тюльери; если бы приказание городских советников могло остановить императорский декрет; если бы, при неприятельском нашествии, Парижская национальная гвардия, сдаваясь врагу-победителю, вздумала увлечь своим примером линейные войска и понудить их сложить оружие.

В столице находятся академии, учебные заведения, даже горный институт; в ней большие театры, большие финансовые и промышленные компании, главнейшие учреждения внешней торговли. В парижских банке и бирже составляются, обсуждаются и ликвидируются великие предприятия, операции, займы и проч. Франции и целого мира. Во всем этом, надо сознаться, нет ничего муниципального.

Поручить все дела городскому совету значило бы отказаться от власти. Предпринять отделение городских дел от столичных значило бы пытаться невозможное и, во всяком случае, создать вечную борьбу между городским началом и правительством, между империей и столицей. В таком случае, отнимите у Парижа все, чем он не обязан себе, все, что ему даровано государственным бюджетом, как столице и резиденции: оставьте этой громадной столице только то, что приобретено её деятельностью, промышленностью, влиянием граждан, и возьмите у неё все, что она получила по высшему влиянию правительства и страны! Вы видите, значит, что, волей-неволей, а мерам приходится быть не более, как помощниками префектов. конкуренция городской думы с 89–95 г. г. нанесла самые жестокие удары монархии; не менее вреда принесла она и революции, и я удивляюсь, что приверженцы единства, как например г. Пикар, думают воскресить подобное господство. Нет, Париж, каким его сделала политика и история, Париж, – как очаг нашей национальности, как столица французской империи, монархии или республики, дело не в названии, наконец, как метрополия цивилизации, – Париж не может принадлежать самому себе. Подобное самоуправление было бы просто узурпацией. Если бы даже правительство согласилось на это, то этого не допустили бы департаменты. Париж живет особой жизнью: как императорский Рим, он может управляться только императорскими чиновниками.

Все это до того верно и так вытекает из самой сущности вещей, что даже в федеральной Франции, при порядке, который можно считать идеалом независимости и который с того начал бы, что возвратил бы общинам полную автономию, а провинциям совершенную их независимость, – Париж, превращенный из императорского города в федеральный, не мог бы соединить в себе атрибуты того и другого рода и должен был бы дать провинциям обеспечение, дав федеральной власти доступ в дела своей администрации и управления. Иначе Париж, благодаря своей могучей притягательной силе и громадному влиянию, которое придало бы ему его двойное значение – могущественнейшей федеральной области и столицы всей федерации, – скоро снова сделался бы царем республики; провинции могли бы избежать его господства только придав федеральной власти, как в Швейцарии, так сказать, кочевой характер, назначая резиденцией её то Руан или Нант, то Лион, Тулузу или Дижон, то Париж, но не более одного раза в десять лет. А тем менее, конечно, может рассчитывать на автономию Париж, столица империи: такая автономия его была бы раздвоением верховной власти и отречением императора.

Притом, взгляните в физиономию столицы, изучите её психологию, и, если вы добросовестны, то признаете, что Париж не отставал от страны и правительства. Чем более приобретал он славы, тем более терял свою индивидуальность и свой самостоятельный характер, тем более его население, постоянно возобновляемое жителями департаментов и иностранцами, удаляется от своей первобытной физиономии. Сколько приходится истинных парижан на 1,700,000 обитателей, составляющих население департамента Сены? Менее 15 на 100: все остальное пришлый элемент. Я не думаю, чтобы из 11 представителей, посланных в законодательный корпус городом Парижем, было четверо настоящих парижан. Что касается мнений этих представителей, мнений, которые совершенно произвольно считаются мнением города Парижа, то какое имеют они значение? Кто мне скажет мнение Парижа? Не составляют ли его мнения 153,000 избирателей оппозиции? Как же, в этом случае, могли они выбрать такие разношерстные личности, как г. г. Тьер, Геру, Авен, Жюль Фавр, Эмиль Оливье, Жюль Симон, Гарнье-Пажес, Даримон, Пельтан? И что же такое, после этого, с одной стороны, 82,000 голосов, данных правительству, и 90,000 отказавшихся подавать голос – с другой? Что сказать о 400,000 душ из 1,700,000 жителей, которые не имеют представителей? Не журналы ли скажут нам мнение Парижа? Но между ними такая же разладица, как и между представителями, и стоит только присмотреться к ним поближе, чтобы утратить к ним всякое уважение. Париж – целый мир: стало быть, в нем нечего искать ни индивидуальности, ни веры, ни мнения, ни воли; это масса сил, идей, элементов в хаотическом брожении. Как свободный город, как независимая община, как коллективная индивидуальность, как тип, Париж отжил свое время. Чтобы из него могло что-нибудь опять выйти, он должен добросовестно и решительно начать обратное движение: он должен сложить с себя и крепостной венец, и венец столицы, и поднять знамя федерации. Если г. Пикар, требуя от имени города Парижа возвращения муниципальных вольностей, имел в виду это, то в добрый час: усилия его заслуживают рукоплесканий. Но в противном случае, г. Пикар идет по совершенно ложному пути, и г. Бильо имел право сказать ему, что правительство никогда не выпустит из своих рук управление столицей.

Что касается меня, то вот что я думаю: Я верю, как в аксиому моего разума, в то общее положение, что всякое развитие конечного бытия должно иметь свой конец, который служит началом другого бытия; в частности, – что развитие французского единства, начавшееся почти за 2000 лет до нас, близится к концу; что централизации у нас уже нечего

больше присоединять, власти – нечего поглощать, казне – нечего вымогать; что, сверх того, древний дух общин умер, умер окончательно, доказательством чего может служить Париж, и что подвиги муниципальных учреждений, которыми нас мазали по губам со времени провозглашения знаменитой республики, единой и нераздельной, – отжили свой век. Мне кажется, что от чистого коммунизма, политического и экономического, нас отделяет только конституция, то есть лист бумаги. И так как, по моему мнению, ни народы не могут умирать, ни цивилизации пятиться назад, то в глубине души я убежден, что приближается мгновение, когда, вслед за последним переворотом, с обнародованием новых принципов начнется движение в обратном направлении. Тогда и только тогда мы станем свободны, и свобода наша заявится, конечно, в новых формах и при новых условиях. Это убеждение, которым проникнуты уже многие, это убеждение я высказываю печатно публике и рабочей Демократии, как сущность её основной мысли. Я не знаю – воспользуется ли Демократия моим предостережением; при всем том, она согласится, по крайней мере, с тем, что ни друзьям моим, ни мне не приходится уже посылать уполномоченного в Законодательное Собрание, где ему следует: или исполнять свое назначение, или повиноваться присяге. Но мы знаем уже заранее, что наш поверенный, исполняя свое назначение, может только произвести скандал; а если он вздумает поступить по присяге, то изменит своему политическому убеждению и своим друзьям.

Версия #2

Зверобой создал 22 марта 2025 14:29:00

Зверобой обновил 11 июня 2025 15:30:10